

Тан  
(В.Г. Богораз)

## Коронация в Колымске (Из воспоминаний)

Колымская эпопея есть только небольшая часть огромной и трагической ссыльно-каторжной истории. Но в своем роде она необыкновенно характерна. Фантастическая страна, заброшенная где-то на крайнем севере, почти за пределами Азии, имела свои особые нравы и даже преимущества. В Колымске был предел, дальше идти было некуда, разве топить людей в полярном море. И этот географический предел русского царства отчасти уже находился за пределом власти русского правительства. Ибо даже его бесконечно длинные лапы, ветвистые, как у осьминога, не хватают так далеко, за двенадцать тысяч верст. Или если и хватают, то северная зима отмораживает им концы щупальцев и лишает их осязания.

Колымская ссылка отчасти была самоотрицанием. Еще один шаг — и можно было попасть в Америку. Пора описать эти удивительные условия без недомолвок и без сокращений и поставить некоторые точки над политическими. Я передам здесь один небольшой эпизод во всей его неприкосновенности, только изменив имена тех, кто еще жив и здравствует.

Когда в общезнании упомянешь Колымск, всегда задают вопрос: какой Колымск — Верхний, Средний или Нижний. Между тем, все три Колымска составляют один и тот же Колымский округ. Среднеколымск есть центральный пункт округа и считается городом. В нем восемьдесят два дома, пятьсот жителей и столько же собак. Нижнеколымск есть селение на пятьсот верст вниз по реке Колыме. Верхнеколымск лежит на пятьсот верст вверх по реке. Это даже не селение, а только церковь, и при ней три дома: два поповских и один дьячковский.

Ссылные с самого начала завоевали себе право разъезда по округу, и почти каждый из них считал непременно долгим посетить все три Колымска. Но наша общественная жизнь сосредоточивалась в городе Среднеколымске, и именно к этому пункту относится мой рассказ.

Это было в мае 1893 года, на четвертый год моего пребывания в Колымске. Нас было больше пятидесяти человек; большей частью административных. Мы делились на две категории, — краткосрочных и долгосрочных. Краткий срок означал крайнюю молодость, случайный арест и отсутствие вины, даже с полицейской точки зрения. Например, из Одессы была прислана целая партия юношей, вернее говоря — подростков. Старшему во время ареста было

семнадцать лет, младшему — четырнадцать с половиной. Ссылали их, по словам приговора, «за знакомство с революционерами».

Краткому сроку, впрочем, предшествовало долгое тюремное заключение, часто более двух лет. Хождение по этапным мытарствам от Москвы до Колымска длилось иногда еще дольше, и, в конце концов, эти юноши прибывали в Колымск как раз вовремя, чтобы праздновать свое совершеннолетие.

Долгосрочные были восьмилетние и десятилетние. Мне, например, перед ссылкой жандармский полковник сказал: «Десять лет — это задаток. А за дальнейшее я вам ручаюсь». Наши, впрочем, не унывали и даже в Сибири вели с начальством малую войну. Иные попали в Колымск уже по сибирским делам, за этапные споры или за местные протесты.

Несколько человек принадлежали к знаменитой ссыльной партии, которая на всех тридцати этапах от Томска до Иркутска устроила последовательно тридцать протестов. Одним из членов: этой партии был Н.Х. Зотов, впоследствии повешенный в Якутске. Этапная дорога была ужасная, грязная, голодная, с мошкаррой в лесу и с клопами на ночлеге. Конвойные офицеры были пьяны, а солдаты лезли драться, — одним словом, в поводах для протеста недостатка не было. В заключение партия была жестоко избита в Иркутске и предана суду за сопротивление конвою. Следствие было заочное и тянулось необыкновенно долго. Суд был тоже заочный. Года через два наши товарищи в Колымске получили из Иркутска приговор, осуждавший их на разные сроки тюремного заключения. Исправник был поставлен в тупик, так как в Колымске не было тюрьмы. В конце концов мы выручили его. Тюрьма была заменена домашним арестом. Под арестное помещение мы уступили большую залу нашего общего дома. Исправник платил нам за наем, также за освещение и отопление этой тюрьмы.

Казенные деньги пришлось нам весьма кстати, ибо наши дела были очень запутаны. Приехали мы зимою. Ничего у нас не было. Все пришлось заводить вдруг. Пищу и дрова нужно было, по местному обычаю, запасти сразу вплоть до июня. В городских лавках не было ни мяса, ни рыбы. Пришлось ехать за припасами к якутам на озера и к чукчам на тундру и везти с собой товары для обмена. Немудрено, что мы в первую же зиму влезли в неоплатные долги к местным купцам. Потом мы эти долги платили из скудного казенного пособия, но никак не могли не то что уплатить, а даже сократить итог. Каждые полгода староста делал подсчет, и все выходила почему-то одна и та же роковая цифра: три кола на брата (111 рублей). После подсчета староста принимался загонять экономию на наших желудках, пока дело не доходило до открытого возмещения. В обыкновенное время мы получали на завтрак кусок так называемого белого якутского масла, сбитого и замороженного вместе с

пахтаньем, и шестую часть небольшого ржаного хлебца. Староста начинал колоть масло мельче и печь хлеба еще меньшего размера. Мы со своей стороны понемногу забирали свои завтраки за день или за два вперед. Мало-помалу самые голодные и настойчивые входили в неоплатные долги на двадцать, тридцать и даже пятьдесят завтраков. Такие должники мутили общественное мнение и требовали амнистии. Но после амнистии три кола снова являлись во всей неприкосновенности. Поэтому мы ничего не имели против этого нового тюремного пособия.

Нечего говорить, что ни о каком действительном аресте речи не было. Некоторые из «арестованных» уезжали в дальние поездки на месяц и на два. А залой мы пользовались по-прежнему.

Впрочем, в виде тюремного символа полиция ежедневно присылала нам стражу, точнее говоря — одного стража. Это был какой-нибудь молодец казак, который заявлял, что он «на вести прислан», и садился на лавку в наших сенях или в кухне, поминутно вскакивая и вытягиваясь во фронт, когда кто-нибудь проходил мимо. Впрочем, добраться до кухни было для казака дело вовсе нелегкое. Двор у нас был большой, крепко загороженный. Калитка была далеко от двери дома, а у калитки постоянно лежали злые собаки. В Колымске ездят на собаках, и в нашем дворе всегда было десятка полтора псов. Эти псы были местной породы, часто куплены у тех же колымских соседей, но, попадая на наш двор, они тотчас же задирали нос и объявляли непримиримую вражду всем остальным жителям городка, двуногим и четвероногим. Якуты входили в наш двор с опаской и еще от калитки начинали громко кричать и вызывать подмогу. Замечательно, что в то же самое время к каждому новому товарищу, приезжавшему из Якутска, те же собаки ластились, как к старому приятелю.

Наиболее зловредным нравом отличалась Дамка, та самая, которую такими розовыми красками описал мой товарищ Н. Осипович в одном из своих рассказов. Эта Дамка не лаяла, не бросалась. Она только подходила сзади и хватала зубами за икру.

Едва очутившись на нашем дворе, недели через две или через три, она цапнула за ногу своего собственного прежнего хозяина.

Особенно не любили наши собаки вестовых казаков, быть может, отчасти и потому, что казаки эти были вечно голодны и заявляли притязание на часть пищи из нашего дневного оборота.

Пища на севере — вещь серьезная и нелегко добываемая. Даже на кости из супа были три партии претендентов. Во-первых, так называемая артель жиганов из собственного состава. Обеденные порции были велики, и жиганы всегда чувствовали голод. Они имели право на все кухонные остатки, а также на испорченные продукты из общей кладовой. Второй партией претендентов на кости были туземные прихлебатели и приживалки с вестовым казаком во

главе. Собакам принадлежала только третья очередь. Немудрено, что они не любили туземных гостей.

С утра до вечера казак сидел на своем месте, скучал, заглядывал в кухню и ожидал съестной подачи. В сущности говоря, он стерег только котел с мясом. Стоило дежурному зазеваться, верхний кусок мяса тут же переходил из котла прямо в кожаный карман верхней одежды нашего казенного сторожа. Иные для этой цели приносили с собой под платьем особый железный крючок, которым местные женщины переворачивают мясо в котле. Впрочем, казенный вестовой при случае старался быть полезным. Особенно это относилось к рубке дров для кухни. Рубка дров лежала на обязанности наших очередных дежурных. Дело это на сильном январском морозе довольно неприятное. Выйдет какой-нибудь юноша в валенках и худых рукавицах и начнет тюкать топором. А казак уж тут, подстерегает случай. Чуть дежурный отложил на минуту топор, казак хватает его и начинает действовать с несравненным проворством туземцев во всех домашних работах. Иной дежурный, поретивее, желая исполнить свой долг до конца, начнет отнимать топор у услужливого казака, а тот не дает, рубит. В несколько минут целая груда дров нарублена, и Казак уже таскает на кухню охапку за охапкой. Тогда ему обеспечена полная обеденная порция.

Таково было наше тюремное заключение в Колымске. Хотя оно и не имеет прямого касательства к моему рассказу, но я описал его для того, чтобы сразу объяснить местные отношения. Дело в том, что начальство и казаки одинаково нас боялись. Нас было много, жили мы все вместе, крепко держались друг за друга. Люди мы были новые, с местной точки зрения совершенно непонятные. Вдобавок при каждом был прислан особый формуляр, в котором были прописаны разные страхи. В прежние времена начальство имело привычку преувеличивать своих противников и расписывать их разными суздальскими красками. Противников было мало, и поле зрения не было достаточно наполнено. Жандармы и полиция смотрели в микроскоп. Теперь противников много, поле зрения переполнено, начальство преуменьшает и смотрит в телескоп. Все старается утешить себя, что беда еще не так велика.

Как бы то ни было, по отношению к нам колымское начальство держалось тактики оборонительной и пассивной. Если угодно, Колымск был первой русской республикой, гораздо раньше дебальцевской, читинской, пятигорской и иных. Обиход был именно тот же самый. Наша община существовала сама по себе, а начальство само по себе. Отношения между нами были то дружественные, то враждебные. Иногда доходило до полного разрыва.

Столкновения случались все больше по праздникам и по табельным дням.

Помню, однажды, на Александра Невского, начальство устроило выпивку и зажгло иллюминацию. Наши немедленно, в виде политической демонстрации,

устроили контр-выпивку, и после того иллюминацию погасили и все площадки стащили с забора. Начальство со своей стороны заперлось в полицейском доме и не выходило до полночи.

Впрочем, отношения были большей частью дружественные. Исправник был из петербургских околоточных и приехал в Колымск прямо с Невского. Он был вдов, играл в карты, пил горькую и жестоко скучал. От скуки он стал читать книги, принимался даже за Маркса, но не осилил. Читал он зимою запоем: запрется и дня три не выходит, все с книгой сидит и даже не спит.

Однако гораздо охотнее он играл в винт. Винт — игра сибирская, особенно ценная для полярных городов. В зимние вечера либо давиться, либо козырять с присыпкой в малом шлеме в бубнах. В Колымске винтили все — полиция, купцы и мы, ссыльные. У нас был свой круг, и случалось, винтили мы жестоко, по двое суток и по сорок восемь роберов сряду. Провинтим этаких два дня, а потом баста — на целый месяц. А между тем в полицейско-купеческом кружке винтеров было немного, и часто за разъездами не хватало четвертого партнера. Тогда начиналась медленная агония. Исправник ходил по улице и старался поймать политического партнера. А у нас, бывало, как на грех, винтовая полоса уже прошла. На карты смотреть противно. Ходит исправник, ловит партнера. Встретит на улице, пристанет: «Пожалуйста, пойдете, на три роберочка». А какое на три! Только войди — двери на запор. Хочешь не хочешь — играй. Отговариваешься, а исправник все ноет и за рукав тянет. Наконец, потеряешь терпенье, дашь ему тычка, вырвешь рукав и бежать домой, а он гонится сзади до самой двери.

Особенно сумасбродная жизнь бывала у нас весною. Трудно описать полярную весну понятными чертами для того, кто ее не испытал. Земной весны нет в полярных широтах. Пока реки не вскрылись, деревья все обнажены. Потом вскроются реки, листья распустятся в три дня, и начинается лето.

Но в северных широтах есть другая весна, ярко-белая, вся в снегу и в морозе, залитая режущим светом, до снежной слепоты, до солнечного одурения.

Еще так недавно тянулась долгая зимняя ночь. Выйдешь в полдень из избы, посмотришь на юг, на краешке неба горит тусклая заря, даже не горит — померцает, да тут же и погаснет. Не живешь, цепенеешь. Дыханье мерзнет от холода, лошадь проходит вся в белом облаке, занесенная инеем.

Лед на реке трехаршинной толщины; лопнет от мороза, как будто пушка выстрелит. Потом опять тихо, темно, тайга не шелохнется, все умерло, и даже ветер умер, и над печной трубой стоит высокий, прямой, сверху кудрявый столб дыма и тоже не гнется, как будто застыл или умер. И кажется, что вечно так будет — холод, тьма, тишина, смерть.

Однако, с половины января заметно, что день прибавляется. Чем дальние, тем заметнее. 9 марта — равноденствие, от солнца до солнца двенадцать часов, а в конце марта заря с зарей сходится. С половины апреля уже день не гаснет, только с утра до вечера он ярко-золотой, а с вечера до утра ярко-розовый. Днем на припеке снег тает, а в тени зимний холод. Около полудня талая вода журчит, ручьи звенят и роются под снегом, а ночью все сковало, мороз градусов в тридцать. И все-таки всем существом ощущаешь воскресение природы, и эта весна — как чудный праздник, солнечно-яркий и светло-нарядный. Как будто каждый раз сам рождаешься на свет вместе с оживающей тундрой и тайгой.

В мае солнечный блеск как бы ожесточается. На реках и озерах снег сходит, и гладкий лед блестит, как зеркало. В полночь большое красное солнце стоит на краю гладкого ледяного горизонта и жжет его своим колючим блеском и не может сжечь. Кругом протянулись багровые полосы, пучки золотых нитей. Все красно и расплавлено все как будто пламенеет, самый воздух горит и не сгорает...

Солнце, блеск, а еды нет. Запасы съедены. Жители выскребли из амбаров последние крохи, якуты подтянули пояса, гложут рыбы головы и заливают кирпичным чаем, черным и густым, как смола. Собаки отпущены на волю, благо ездить нельзя, — дороги испортились. Никто их больше не кормит. От голода они качаются на ходу и лают беззвучно, каким-то хриплым шопотом.

Провизия у всех оскудела, даже у начальников и у попов. Кое у кого есть мясо, но оно выветрилось и прогоркло. Мука есть, но жир вышел, и жарить не на чем. Все, что осталось, безвкусно, как трава.

У нас, впрочем, и безвкусное подобралось. Каждый день за стол садятся пятьдесят человек, не считая посторонних. Не напасешься на такую ораву. Теперь негде купить, если бы даже было на что. Что запасли с осени — съели. Староста начинает сокращать выдачу. Мы со своей стороны получаем молчаливое право делать набеги на его кладовые и похищать все, что сколько-нибудь пригодно для еды.

Острее всего последняя неделя перед вскрытием реки. Ночи нет. «Вчера» и «завтра» слились в одно сплошное «сегодня». Дни путаются и как-то выпадают из недели. В одной неделе четверга не было, в другой — воскресенья. Никто не спит — ни солнце, ни люди, ни собаки, ни птицы в кустах. Собаки и люди бродят у реки и стерегут воду, как голодные чайки. Ибо к воде «ожива», первая рыба, которая оживит отощавшего жителя. Вдоль закраины льда уже появилась «заберега», узкая полоска талой воды. С каждым днем она все шире, но матерый лед прирос к берегу, никак не может отстать, выпятиться коробом и всплыть наверх. Как только лед пройдет, рыба хлынет валом, и начнется летний праздник.

А перелетная птица уже летит мимо: утки всех сортов, сухие и водяные, мелкие и крупные, черные турпаны, серые шилохвости, савки, лутки, чирки, гуси-казарки и гуси-гуменники, крохали, лебеди-кликуны, лебеди-шипуны, гагары всех видов. Днем и ночью, без передышки, стая за стаей тянется в северу на тундренные озера. Гам, крик, клёкот, звон крыльев, трубные звуки лебедей. У кого есть ружье, тот сидит на мысу, стережет добычу. Но птицы знают колымские правы и над городом взлетают кверху. К тому же местные ружья плохи и в «летающую» птицу вовсе не попадают, а только в «сидячую». Наши тоже ходят с ружьями, иной раз убьют утку или гуся, но что значит один гусь на всю компанию! С утра до вечера думаем только о еде. Все идет в дело: рыба, кожа, черные комья прелой муки, рыбий жир, остатки собачьего корма, сальные свечи. Свечи нередко бывали так называемые «утопшие». Староста выливал их из сала коров, утонувших в болоте, а чтобы они не оплывали, подмешивал к салу разной химической дряни. Но нам было все равно. Иногда он грозил, что подмешает мышьяку, но угрозы этой ни разу не исполнил.

Весна 1893 года была для нас памятнее других. В эту весну из Якутска неожиданно приехал старший советник областного управления Сальников с разными поручениями от губернатора Скрипицына.

Сальников даже для Якутска был человеком совершенно необыкновенным.

Начать с того, что в нем было вершков двенадцать росту, разумеется, в придачу к двум аршинам, и больше восьми пудов весу. Брюхо у него было огромное, как бочка. Эту бочку можно было налить доверху спиртом, без особого вреда для ее хозяина. По женской части Сальников тоже был ходок. Он был холост, но жил семейно с одной из своих любовниц, замужней женщиной. Законный муж находился тут же, и дети безразлично называли «папой» и того и другого.

С другой стороны, Сальников был в то время единственным человеком с университетским образованием на казенной службе в Якутской области. Жители, впрочем, не верили, что он окончил настоящий университет, и пустили слух, что, в сущности, это не Сальников, а некий бродяга, который убил настоящего Сальникова, завладел его бумагами и поступил на службу. В Сибири такие дела бывали, но этот Сальников был настоящим. По образованию он был юрист и попал в Якутск судебным следователем. Там на одном допросе он погорячился, ударил подследственного кулаком и убил его наповал. За такой подвиг Сальников и сам попал под суд, но в Восточной Сибири такие дела тянутся подолгу и кончаются ничем. Тем временем Сальников перешел в Министерство внутренних дел и быстро дослужился до старшего советника.

Первое поручение, данное губернатором Сальникову, состояло в том, чтобы открыть новый торговый путь из Гижигинска в Колымск. Губернатор

посмотрел на карту, прикинул, что из Гижиги до Колымска близко, а Гижига стоит на море, стало быть, туда приходят пароходы, — и послал своего советника открывать новый путь напрямик, как вороны летают. Это обыкновенный бюрократический метод. Николай I по этому методу построил Николаевскую железную дорогу, а граф Сергей Витте — Маньчжурскую соединительную линию с веткой на Порт-Артур. В данном случае от Колымска до Гижиги, действительно, было недалеко, верст шестьсот или шестьсот пятьдесят, но ездить было невозможно, ибо на гижигинской тундре лошади пропадают от бескормицы.

Сальников, впрочем, поручение исполнил, в Гижигу пробрался на лошадях, но лошадей по дороге растерял. Из Гижиги он вернулся с большими трудностями вместе с чукотским кочевьем. Чукотский омолонский староста Омрелькут вывез его на собственных оленях. Ехать было тяжело. Три олени упряжки пали одна за другой под грузным советником. По прибытии в город начальство на радостях устроило бал. На балу Омрелькут напился и разделся донага. Когда его хотели убрать, он изъявил претензию выехать из залы верхом на казаке точно так же, как толстый начальник ехал на его оленях. Сальников признал справедливость притязания и велел своему денщику подставить спину.

За рекою против города, откуда пришел чукотский караван, Сальников распорядился поставить столб с надписью: «Дорога генерала Скрипицына». Скрипицын в то время был только статский советник. Нечего говорить, что купцы по этой дороге не поехали, а года через три и столб завалился.

Впрочем, путешествие Сальникова началось летом, месяца через три после описываемой мною весны.

Второе поручение Сальникова касалось ревизии казенных сумм из всего полицейского управления. Такие ревизии в Сибири производятся быстро и легко, можно сказать — в промежутке двух карточных сдач. Подсчеты ведутся на мелок, проверка магазинов — на глазомер. Сальников с исправником поладили без затруднений.

*Знает только ночь глубокая,  
Как поладили они...*

Третье поручение касалось нас, ссыльных. До якутских властей дошли сведения, что мы забрали слишком много воли. Получить эти сведения было нетрудно. С каждой почтой из Колымска в Якутск посылались доносы. Их писали попы и дьячки, отставной казачий командир, отданный под суд за растрату и отсиживавшийся от своего дела в Колымске, как в неприступной крепости, уголовные поселенцы и купеческие приказчики.



Сальникову было поручено, во-первых, исследовать справедливость доносов, во-вторых — изыскать меры к нашему обузданию, а заодно и обследовать вопрос об уменьшении небольшого казенного пособия, которое нам ежемесячно выдавалось и без которого мы должны были погибнуть голодной смертью.

Я охотно верю, что Сальников выехал из Якутска в самом черносотенном настроении и с искренним желанием обуздать и урезать. Но дело в том, что дорога от Якутска до Колымска тянется на три тысячи верст и обладает секретом всеобщего демократического уравниения. Каждому одинаково холодно, тоскливо и неудобно. Лесные избышки одинаково стынут и дымят, особенно знаменитая Бездверная, первая с юга. Колючий ветер не разбирает лиц, мороз забирается в самые именитые кости. Когда испытаешь все это на собственной шкуре, охота подтягивать и урезывать как-то отходит назад.

Сальников ехал, мерз, голодал и постепенно из черного становился красным.

На пути между Якутском и Колымском лежит Верхоянск. Сальников остановился в Верхоянске на один день. Ему нужно было лекарство, немного пряностей и сухих овощей, ибо для большей легкости он взял с собой весьма мало припасов. Все это он мог достать только у политических ссыльных. Допускаю также, что ему хотелось увидеть человеческие лица, не гнусные и не рабские, как у встречавших его чиновников, услышать слово, не стесненное искательством и страхом. И за этим тоже приходилось обращаться к политическим ссыльным.

Одним словом, Сальников приехал в Колымск совсем красным, можно сказать — левым кадетом.

Вместо обуздания он старался войти с нами в добрые и приятельские отношения. Он уже говорил не о сокращении, а, напротив, о возможном увеличении казенного пособия.

На второй день по прибытии Сальников снял мундир и надел красную рубаху. Вместе с мундиром он как бы сбросил на время чиновничью часть своей души и вернул себе старую студенческую душу той эпохи, когда он распевал с друзьями: «Будем пить за того, кто «Что делать» писал», хаживал на кулачные бои с мещанами, но еще никого не убивал кулаком.

Мы, однако, оставались холодны к этому превращению и держались настороже. Мы предвидели, что на обратном пути Сальников переменит свою окраску в той же самой постепенности и, достигнув Якутска, представит губернатору Скрипицину самый черносотенный рапорт и таким образом, исполнит третье поручение.

Сальников, как водится, остановился у исправника. Почти тотчас же по его приезде началось непрерывное пьянство. Советник и исправник пили сами и

доили других. На Колыме водки не знают, а пьют спирт, и притом неочищенный. Он стоит дорого — два, три и даже пять рублей за бутылку. Впрочем, исправник приготовился к приезду ревизора и припас пять фляг спирту. Фляга — это плоский бочонок, приспособленный к перевозке вьюком и вмещающий три ведра.

Несмотря на дороговизну, колымские жители страстно привержены к выпивке. Они готовы отдать за глоток спирта последнюю лисью шкурку, даже последнюю еду. Если бы хватило, они были бы готовы опиться до смерти. Общее мнение гласит: «За рюмочку не жалко дать вырезать кусок тела». Особенно ценится выпивка в голодную пору.

«Натошак сильнее разбирает, — говорят жители. — Голодный от запаха пьян...»

Немудрено, что все наличное мужское население городка льнуло к пирующему начальству. Сальников поил всякого, но льстивые и запуганные обыватели не удовлетворяли его. Ему хотелось настоящего человеческого общества. Во хмелю он был ласковый и болтливый. Ему нужны были слушатели для его «дружеских» речей.

Из нашего общества иные были бы не прочь выпить, особенно весной, на солнышке. Но пировать с филистимлянами была неподходящая статья. По отношению к местным филистимлянам наше общество делилось на три партии. Крайне левые держались замкнуто и непримиримо. Легкомысленная часть держалась более примирительно и даже не гнушалась филистимлянского хлеба-соли. Центр колебался между той и другой тактикой. Весною, впрочем, все партии мешались. Люди соединялись в случайные группы, бродили по городу сорок восемь часов кряду, потом падали от усталости и засыпали на целые сутки.

Это было четырнадцатого мая утром. Мы побывали на речном берегу, потом взобрались на косогор и пошли по узкой дорожке мимо кладбища и церкви. Здесь находилась единственная полоска городской земли, пригодная для прогулок. По обе стороны ее были кочки, лужи воды, корявый кустарник, пни и прочие тому подобные предметы местной городской жизни.

Нас было человек десять. Были мои близкие приятели, Гримберг и Скальский. Гримберг, родом еврей, плотный, курчавый и черный, походил на негра. Он был человек удалый и страшный спорщик. В этом человеке сидели две души: одна — воина, другая — казуиста. Первая толкала Гримберга на головоломные дела. По поводу второй мы говорили, что Гримберг любит положить в фундамент инфузорию и построить на ней вавилонскую башню. Лет через пять, когда Гримберг, наконец, вернулся в Россию, обе стороны его духа нашли себе применение. Во-первых, он стал писателем-экономистом и принял деятельное участие в полемике по поводу борьбы классовой,

профессиональной и профессионально-политической. Вместе с тем Гримберг погрузился с головой в пропаганду и агитацию, вел кружки, читал рефераты, ездил через границу, сидел в тюрьме.

Скальский был высокий и белокурый, с холодной головой, сдержанный и страстный. После, в России, Скальский сильно развернулся, а в тюрьме он сидит до сих пор. Оба они — и Гримберг, и Скальский — теперь принадлежат к «меньшевикам».

Кроме этих двух был еще Полозов, донской казак, огромный и грузный, хотя все-таки меньше Сальникова, Илья Жигатов, тщедушный, злой и спокойный, Черноусов, печальный резонер, Крафт, Мартениус и другие.

У церкви дорожка расширялась и переходила в площадку. На площадке было сборище. Это Сальников и компания пировали на открытом воздухе. По-видимому, они расположились на самой дороге не без умысла. Это была как бы застава, для того, чтобы задерживать всех прохожих и привлекать их к участию в пиршестве.

Сальников сидел в центре группы на опрокинутом бочонке; другой бочонок стоял перед ним в виде стола. Оба эти бочонка были пусты. Третий был наполовину наполнен спиртом. В одной из клепок его было круглое отверстие, крепко заткнутое деревянной втулкой. Исправник сидел возле Сальникова на связке хвороста; другие полицейские чины уселись прямо на земле. Кругом толпились казаки и мещане. Они попеременно смотрели на начальство и на бочонок откровенными, наивно-вождедеющими взглядами. На бочонке, изображавшем стол, стоял большой медный чайник, видимо, налитый спиртом, и несколько стаканов и чайных чашек.

Закуски не было видно, но поодаль горел костер. У костра примостился железный треножник, а на треножнике стояла большая железная сковорода.

В прибрежной воде были заметаны мелкие сети. В эти сети могли попасться разве щурята и окуни. На Колыме в другое время такую мелочь не считают даже за рыбу. Но теперь каждая такая рыбка должна была тотчас же попасть на сковороду и превратиться в жаркое.

В России, как известно, выпивают, закусывают селедкой, потом вспоминают, что рыба плавает, и по этому поводу снова выпивают. Здесь только выпивали, а рыба тем временем действительно плавала в воде.

Свернуть с дорожки было некуда. Мы пошли прямо на костер.

— Гуляете? — начал Сальников, поднимая к нам свое широкое лицо и любвеобильные глаза.

— Да! — отозвался Жигатов. — А вы выпиваете?

— Да-да! — в свою очередь вздохнул Сальников. — Не хотите ли с нами?

— По какому случаю пир? — спросил Жигатов. — К завтраму готовитесь?

— А завтра что? — невинно спросил Сальников.

— Завтра годовщина коронации.

— Скажите! — воскликнул Сальников. — А я забыл!.. Сохрани Бог! — вырвалось у него при взгляде на наши нахмуренные лица: — Мы так себе пьем... Выпейте с нами за компанию...

Жигатов посмотрел на Полозова, потом на Гримберга. Гримберг неожиданно усмехнулся. Ему пришла в голову блажная мысль.

— Знаете, Иван Дмитрич, — сказал он, — мы бы, может, и выпили, но нам не совсем ловко пировать в такой день. Разве, если условие поставить.

— Какое условие? — живо спросил Сальников. — Я заранее согласен.

— Чтоб этот праздник вышел, как антиправительственная манифестация.

— Манифестация?! — воскликнул Сальников. — От всего сердца.

Он так ударил по бочонку кулаком, что все стаканы звякнули, потом взял один стакан и грузно поднялся на ноги.

— Слушайте, звери! — это относилось не к нам, а к жителям, а может быть, также и к собакам, стоявшим в таком же напряженном ожидании. — Сколько жертв было принесено во имя идеи! Эти жертвы не пропали даром. На алтаре пылает пламя, вольное слово над миром гремит. Пью за русскую идею! Да здравствует республика!..

Он говорил совершенно искренне. Быть может, он даже забыл, что он казенный советник, и думал в эту минуту, что он студент среди студентов, ссыльный среди ссыльных, жертва, пострадавшая за «русскую идею».

— Да здравствует республика! — дружно отозвался наш хор.

— Ура! — подхватили казаки. — Публика!..

Началось нечто гомерическое, тройной крепости, как спирт, стоявший перед нами в чайнике и бочонке. Сальников обнимался с Гримбергом, Жигатов — с исправником. Потом Сальников и Полозов пробовали поднимать друг друга на поясах, а Скальский плясал русскую вместе с маленьким смешным старичком из отставных казаков.

Старичка по-уличному звали Гагарой за кривые ноги и пронзительный голос. Гагара плясал плохо, кривые ноги путались и заплетались.

Скальский ухал и вскрикивал: «Вы, мертвые, делай!» — и его холодное лицо странно противоречило этому буйному веселью.

Из дальнейшего мне памяты только отдельные эпизоды.

Гримберг и Сальников сидят рядом на земле. Гримберг глядит на костер. Костер ярко пылает. Сковорода стоит уже не на треножнике, а прямо на горящих ветках.

Казаки, наконец, поймали щуку. Ее сейчас будут жарить.

— Это огонь! — говорит Гримберг.

— На алтаре пылает пламя, — отвечает Сальников.

— Пылает, — соглашается Гримберг. — Костер пылает. Это я понимаю. Живет, пылает, а мы что?.. Мы прозябаем в этом холодном гробу... Я хочу сообщиться с этим огнем! — внезапно вскрикивает он, вскакивает на ноги и подбегает к костру. К нашему величайшему изумлению, он поднимает полы и садится прямо на сковороду.

Мы тоже вскакиваем и успеваем сдернуть его с костра. Он не потерпел особого ущерба.

— Сидите смирно! — увещевает его Сальников. — Экая горячка! Огонь душевный ярче, огонь внутренний!

Но Гримберг не слушал.

— Я хочу сгореть, — упорно повторял он, — испепелиться, по ветру развеяться.

Улучив минуту, он вскакивает и опять бросается на костер.

— Отстань, — кричит он мне свирепо, — Каменное сердце!..

Жигатов и исправник стоят друг против друга.

— Давай, выпьем на брудершафт! — предлагает исправник.

— Отстань!

— А какая это у вас трубка? — переводит исправник разговор на другую тему. — Новенькая? Покажите.

— Глиняная, — отрывисто отзывается Жигатов, — не про вашу честь.

Лицо исправника принимает упрямое выражение. Внезапным движением он вырывает у Жигатова трубку изо рта и бросает ее далеко сторону.

Глаза Жигатова вспыхивают злым огнем. Он протягивает руку, срывает с исправника шапку и бросает ее вслед за трубкой.

Лицо исправника темнеет.

— Ты чего? — ворчит он. — Я тебе могу в морду дать...

— А я тебе в другую!

— Ха-ха-ха! — краткая вспышка полицейской злобы кончается смехом. — Сергей, подними шапку!..

Молодой казак, денщик исправника, молча и проворно приносит начальственную шапку.

— Трубку подними! — приказывает Жигатов.

— Не смей! — кричит исправник.

Сергей беспомощно разводит руками.

— Егорша, подними трубку!

Егорша — городской нищий. Таких нищих двое. Оба зовутся Егорши. Один — Егорша-Худой, другой — Егорша-Тунгус. Оба они тут, и оба кормятся подачками из нашей столовой.

Егорша-Тунгус поднимает трубку и приносит Жигатову.

Теперь очередь исправника разводить руками.

— Тут я ничего не могу поделать! — говорит он. — Это ваши люди.

Сальников и Черноусов сидят рядом на земле. Черноусов — странный человек. Молодец, прекрасный работник, мастер на все руки, с виду веселый и даже разговорчивый, но, в сущности, безнадежно-грустный. Когда он выпьет, эта грусть выходит наружу. В душе его есть что-то надломленное. Лет через пять Черноусов перебрался в Иркутск и там в два года внезапно состарился, поседел и даже одряхлел. Теперь он, кажется, умер.

— Я был человек вольный, — говорит Черноусов, — а теперь я — арестант.

*Прилетали к соловью два сокола,*

заводит он приятным и протяжным голосом, —

*Взяли, взяли соловья к себе домой,  
Посадили его в клеточку,  
За серебряну решеточку.*

Он поет, как плачет, но лицо его спокойно.

— Не плачьте! — говорит Сальников и плачет сам. Слезы катятся градом по его лицу. — Я ценю вашу муку! — говорит он. — Дайте пожать вашу мужественную руку.

— Будьте вы прокляты! — отзывается Черноусов.

*Уж ты пой, воспевай, соловей,  
При кручине утешай нас, молодцов..*

Гримберг изменил направление своих мыслей и от огня перешел к воде. Только что он изображал Жанну Д'Арк, теперь перешел на роль Офелии. Он бродит по пояс в ледяной забереге. Я хожу до песку у самой воды и стараюсь выманить его на берег, как русалку. Я помню, что у него больная нога, и это приключение может кончиться для него печально. Но он упорствует.

— Ура! — кричит он. — Сейчас лед тронется. Я уплыву вместе с полкой водой. На волю из душного плена, на волю, на буйную волю!..

Дальше мои воспоминания прерываются. Знаю только, что мы трое — я, Гримберг и Скальский — очутились в нашей общественной библиотеке, занимавшей отдельную избу. Изба эта была заперта висячим замком, ключ от замка лежал у Гримберга в кармане.

Мы забрались внутрь, заснули на полу и проснулись на другой день после полудня с тяжелой головой. Но страннее всего было то, что дверь оказалась по-прежнему запертой на замок, и ключ лежал у Гримберга в кармане.

Бр!.. Скверно!..

Наше празднование, в сущности, было преждевременно. Коронацию следовало праздновать только на следующее утро. В должный час городской протоиерей, отец Алексей, явился в церковь служить молебен. В церкви никого не было. Только две старухи стояли у стены, да еще подсудимый командир, которого Сальников почему-то невзлюбил и не принимал к себе. Сальников утверждал, что от командира дурно пахнет.

Отец Алексей тоже был в своем роде достоин примечанию. Это был маленький попик, круглый, колючий, с хмурым лицом и неприятным смехом. У отца Алексея было семейное горе. Его попадья открыто для всего города жила с помощником исправника. В Колымске господствуют нравы совершенно содомские.

— У нас вода такая! — говорят жители в объяснение и спокойно переходят все границы приличия.

Отец Алексей, тем не менее, долго не знал о своем несчастье, но когда, наконец, узнал, то ничего не сказал и не сделал, только стал скучать и задумываться. Мало-помалу он совсем свихнулся и, наконец, в один праздничный день после службы вышел на амвон и возгласил: «Православные христиане, выслушайте мою проповедь! Ти-ни-ни!» В церкви произошло смятение. Отец Алексей ушел из церкви, перестал служить и скоро умер.

Но теперь отцу Алексею было не до проповеди.

— Где люди? — спрашивал он яростным голосом.

— Спят, — объяснил командир. — Только сейчас легли.

— А начальство где?

— Тоже спят, — сказал командир. — Всю ночь с политическими пьянствовали, а нас с вами не звали.

Недолго думая, отец Алексей принял драматическую позу и провозгласил анафему «граду сему и жителям его и правителям его», затем демонстративно отряхнул прах с ног своих и ушел из церкви.

Вечером Сальникову доложили об анафеме. Он рассвирепел, тут же взял лист бумаги и стал строчить:

«Сего числа городской протоиерей, отец Алексей Трифонов, придя в церковь в возбужденном виде, вместо установленного молебна, произнес хульные слова, о нем поучительнейшее доношу вашему преосвященству, и прочая, и прочая...»

Из всего этого дела ничего не вышло. Во-первых, отец Алексей и подсудимый командир написали по встречному доносу. А во-вторых, почта ушла только через два месяца, и неизвестно, были ли доносы действительно отправлены в Якутск. Почту заделывал Сальников, и он мог уничтожить все три доноса.

Так мы отпраздновали коронацию в 1893 году.

Летом, как сказано выше, Сальников отправился в Гижигу, а осенью вернулся обратно. В январе он вернулся в Якутск и в числе прочих рапортов представил также соображения о нашем обуздании.

Плодом этих соображений поздней весной 1894 года, ровно через год после описанного мною праздника, исправник получил секретный циркуляр о том, чтобы по возможности обуздать наше право разъездов по колымским пустыням.

Мы, впрочем, прочли этот циркуляр раньше исправника. Почта по обыкновению пришла в растерзанном виде. Оболочки пакетов истерлись в труху. Газетные номера, казенные бумаги и частные письма перемешались в одну общую груду. Разобрать эту груду, как следует, могли только мы, ссыльные. Мы перетряхивали «Правительственный вестник» и «Сенатские ведомости» номер за номером, вылавливали оттуда письма и казенные предписания и раскладывали все это по именам и категориям. Скальский отличался особенным искусством в этой области. Иное имя он определял по единственной уцелевшей букве, подобно тому, как Кювье по единственному зубу определял породу ископаемого животного.

Поэтому мы первые прочли секретный циркуляр, но прочитав, передали его исправнику. Он тоже прочел, ничего не сказал и спрятал циркуляр в стол.

Не знаю, что он ответил в Якутск «генералу Скрипицыну». Поздней осенью пришло известие поважнее этого циркуляра. О нашей Колыме лучше сказать: не осенью, а раннею зимою, ибо река стала уже в двадцатых числах сентября.

Была темная ночь с морозом и вьюгой. Мы со Скальским шли по той же городской тропинке, направляясь домой. Внезапно мимо нас промчался верховой и повернул к полицейскому дому.

«Нарочный из Якутска», — мелькнуло у нас в голове. В такое время так скакать мог только нарочный.

— Кто умер!? — крикнул я вдогонку всаднику.

Спешные нарочные присылались только в случае смерти высокопоставленных особ.

— Царь умер! — донеслось спереди.

— Где убили? — крикнул Скальский на весь город.

По старой памяти 1881 года нам показалось, что мартовская трагедия повторилась.

— Сам умер! — глухо донеслось из темноты.

Эта смерть произошла естественным путем.

На другой день вьюга стихла. В ясном небе взошло зимнее солнце. У нас на душе тоже было светлее. Жандармские генералы и полковники, отправляя нас в ссылку, все рассчитали, только не рассчитали смерти. Тринадцатилетний кошмар кончился для нас и для всей России. Начиналась эпоха



«бессмысленных мечтаний». Правда, мы досидели до конца срок своей ссыльной неволи, но мы смотрели вперед, и души наши были свободны. Ибо кто чувствует себя свободным, тот уже свободен.

Еще Мирабо сказал: «Враги ваши кажутся вам великими потому, что вы стоите на коленях. Встаньте с колен!..»

Ныне коленопреклоненная Россия стала вставать на ноги. Скоро она поднимется во весь свой огромный рост.

*OCR по изданию 1931 года: Андрей Дуглас*